

РИНА МАНОВА

Безымянная

роман



Она не помнила даже своего имени

Рина Манова

Безымянная

<https://litres.ru/74677109>

SelfPub; 2026

Аннотация

Знойный июнь 1839 года. На пыльной дороге без чувств падает девушка в изорванном бальном платье: босая, израненная, не помнящая даже своего имени. Князь Михаил Озёрский увозит незнакомку в своё имение Белый Ключ и называет её Надеждой.

Лето у родника под белыми берёзами становится для них временем тихого счастья: ноктюрны под шум дождя, мазурка при свечах, признание под звездопадом. Два израненных сердца находят друг в друге исцеление.

Но прошлое не отпускает. Однажды к крыльцу подъезжает чёрная карета, и память возвращается вместе с человеком, которому она принадлежит по закону.

Сможет ли любовь оказаться сильнее закона, страха и самой судьбы?

Пронзительная история о любви, ради которой стоит вспомнить себя.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	17
Глава 3	31
Глава 4	44
Глава 5	56
Г	70
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Рина Манова

Безымянная

Глава 1

Жара стояла третий день, и пыль на тракте лежала такая мягкая и глубокая, что босые ноги уходили в неё, как в тёплую муку. Девушка шла по самой обочине, там, где из канавы поднимались лопухи и пижма, и каждый шаг давался ей так, словно земля тянула её вниз и не хотела отпускать.

Она не знала, сколько времени идёт. Ей казалось, что всегда. Что не было ничего другого, кроме этой белёсой полосы дороги, уходящей к горизонту, кроме звона кузнечиков в траве, кроме солнца, которое висело над головой неподвижно и смотрело на неё с равнодушием старого злого бога. Иногда дорога расплывалась перед глазами, и тогда девушка останавливалась, закрывала лицо ладонями и ждала, пока мир снова соберётся из пятен.

Платье на ней было бальное, из тех, что шьют в Москве у французской модистки на Кузнецком мосту и за которые платят столько, сколько крестьянская семья не видит за десять лет. Когда-то оно было цвета утренней зари - бледно-розовое, с серебряной нитью по лифу, с тремя рядами воланов, с кружевом, тонким, как паутина. Теперь кружево висе-

ло ключьями. Воланы были оборваны, и один волочился за ней по пыли, как раненое крыло. Подол почернел от болотной грязи и запёкся бурыми пятнами. На плече ткань разошлась, и в прореху было видно голое плечо, обгоревшее на солнце докрасна. Шёлк, рассчитанный на свет свечей и на паркет, не выдержал ни леса, ни колючего кустарника, ни ночного дождя.

Туфель на ней не было. Она не помнила, где их потеряла. Кажется, одну увязила в трясине, когда переходила болото - помнила холодную чёрную жижу до колен, помнила, как вытащила ногу, а туфелька осталась там, внизу, и она не стала за ней нагибаться, потому что за спиной... За спиной было что-то, от чего нужно было бежать. А вторую она, должно быть, сбросила сама, потому что идти в одной было невозможно.

Ступни у неё были изранены. Сначала она ещё чувствовала каждый камешек, каждую сухую колючку, и вскрикивала, и шла на цыпочках, как ходила когда-то по холодному полу детской, торопясь к маминой постели. Потом перестала чувствовать. Ноги стали чужими, тяжёлыми, они просто несли её вперёд, и она была им за это благодарна.

Волосы, когда-то уложенные высоко, с локонами у висков, с жемчужными шпильками, рассыпались по спине тяжёлой спутанной волной. В них застряли репы и сухие листья. Одна шпилька ещё держалась над ухом, и девушка время от времени трогала её пальцами, будто это была последняя ни-

точка, связывавшая её с чем-то, что она должна была помнить.

На левом виске у неё запеклась кровь. Девушка этого не видела, но чувствовала: там, под волосами, тупо и упорно болело, и боль отдавалась в глаза, в затылок, в зубы. Иногда, когда она слишком резко поворачивала голову, мир вспыхивал белым, и она едва удерживалась на ногах.

«Идти, - говорила она себе. - Только идти. Не останавливаться. Он найдёт».

Кто - он? Этого она не знала. Это знание лежало где-то глубоко, на самом дне, под толщей тёмной воды, и всякий раз, когда она пыталась нырнуть за ним, вода выталкивала её обратно, и оставалось только одно: страх. Чистый, бесприимесный, как ледяной ключ. Страх, от которого немели пальцы.

Она помнила обрывки. Свечи - много свечей, и их отражения в высоких окнах. Музыку - вальс, который играли слишком громко и слишком быстро. Чей-то смех, похожий на лай. Руку на своём запястье - тяжёлую, горячую, сжимающую так, что потом оставались синие следы. Помнила тёмный парк, мокрую траву, ограду, через которую она перелезала, разрывая платье. Помнила, как бежала через лес, и ветки хлестали её по лицу, и луна мелькала между стволами, как огромный бледный глаз. Помнила, как упала - или её ударили? - и ударилась головой о что-то твёрдое, и долго лежала, глядя в небо, и не могла вспомнить, как её зовут.

Это было самое страшное. Она шла и повторяла про себя, как молитву: «Меня зовут...» - и дальше была пустота. Белая, звенящая, как этот полуденный зной. Она знала слова. Знала, что это - дорога, что над ней - небо, что в траве - кузнечики. Знала, как читать «Отче наш», и шептала его, когда становилось совсем худо. Знала, что платье на ней французское и что такие платья носят на балах. Но кто она, откуда, куда идёт и зачем - этого она не знала.

Однажды ей встретилась баба с коромыслом. Баба остановилась, долго смотрела, приоткрыв рот, потом перекрестилась и торопливо пошла прочь, оглядываясь. Девушка хотела крикнуть ей вслед, попросить воды, но голос не послушался: из горла вышел только хрип. Она облизала сухие, потрескавшиеся губы и пошла дальше.

Потом была деревня - несколько изб за околицей, лай собак. Она обошла её стороной, сама не зная почему. Что-то внутри велело: не к людям. Люди скажут. Люди вернут. А туда, откуда она пришла, возвращаться было нельзя - это она знала так же твёрдо, как знала, что солнце горячее.

У ручья она напилась, стоя на коленях и черпая воду ладонями. Вода была холодная, пахла железом и травой. Она умыла лицо, и вода в ладонях стала розовой. Девушка смотрела на эту розовую воду с тупым удивлением, не понимая, откуда она. Потом поднялась - это заняло у неё много времени - и снова вышла на дорогу.

К полудню солнце стало совсем невыносимым. Тени не

было нигде: тракт тянулся через поля, где рожь стояла по пояс, зелёная ещё, с голубыми звёздочками васильков. Где-то далеко, у самого края неба, синел лес. Девушка смотрела на этот лес и думала, что если дойдёт до него, то ляжет в тени и уснёт, и, может быть, во сне вспомнит своё имя.

Она шла. Земля под ногами начала медленно покачиваться, как палуба. Девушка не знала, откуда ей известно, как качается палуба, - но знала: было когда-то лето, и большая лодка, и смеющийся мужчина с седыми висками, который держал её на руках и говорил: «Смотри, Верочка, смотри, какая вода»... Верочка. Она остановилась, вцепившись в это слово, как утопающий в обломок мачты. Верочка. Но слово выскользнуло, растаяло, и осталось только эхо смеха и запах речной воды.

И тогда она услышала стук копыт.

* * *

Князь Михаил Александрович Озёрский возвращался из Твери в отвратительном расположении духа.

Он провёл там четыре дня, улаживая дела покойного отца с Опекунским советом, и все четыре дня его окружали люди, которые говорили не то, что думали, улыбались не тому, чему улыбались, и смотрели на него так, словно прикидывали, сколько стоят его леса, его мельницы, его шестьсот душ и сам он вместе с титулом и гвардейским прошлым. Губернаторша дважды приглашала его обедать и оба раза сажала рядом со своей старшей дочерью, девицей двадцати двух лет,

которая краснела, роняла вилку и говорила только о погоде. Предводитель дворянства пытался продать ему жеребца, которого Михаил с первого взгляда определил как запаленного. А стряпчий из Опекунского совета так долго перебирал бумаги и так многозначительно вздыхал, что Михаил в конце концов сунул ему ассигнацию, - и тут же бумаги нашлись, подписи были проставлены, печати приложены, и стряпчий проводил его до дверей, кланяясь, как китайский болванчик.

Михаилу было двадцать восемь лет. Шесть из них он прослужил в лейб-гвардии Конном полку, был на Кавказе, получил там пулю в плечо и Владимира с бантом, а потом, когда пришло известие о смерти отца, подал в отставку и вернулся в Белый Ключ - родовое имение под Тверью, где не был почти восемь лет. Он вернулся, полагая, что едет ненадолго: похоронить, распорядиться, оставить управляющего и снова уехать - в Петербург, на Кавказ, куда угодно. Но мать слегла от горя, сестре было шестнадцать, управляющий оказался вором, и Михаил остался. Прошёл год. Мать поднялась, сестра выросла, вора прогнали, а он всё жил в Белом Ключе и сам не понимал, что его там держит.

Друзья по полку писали ему насмешливые письма: «Озёрский, ты обрастаешь мхом. Ты сделаешься помещиком из Го-голя, станешь солить грибы и спорить с соседом о меже». Он отвечал им коротко и редко. Он не мог объяснить, что после Кавказа, после крови, после бессмысленных смертей, после того, как он держал на руках умирающего юнкера, совсем

мальчика, который звал маму, - после всего этого петербургские балы казались ему чем-то вроде кукольного театра. Ему было скучно с людьми, которые никогда не видели смерти. А с теми, кто видел, ему было тяжело.

В Белом Ключе было тихо. Там был старый парк, спускавшийся террасами к пруду, и родник под берёзами, от которого имение получило название, - ключ бил из-под белого камня, и вода в нём была такая чистая, что в ней виден был каждый песчинка на дне. Там была библиотека отца, где пахло кожей переплётков и сухими розами, которые мать когда-то закладывала между страниц. Там была мать, которая старела и становилась строже, и Катя, которая смеялась над всем на свете. Там можно было ездить верхом до изнеможения, читать до рассвета и ни с кем не говорить, если не хочется.

Но в последние месяцы и эта тишина начала его тяготить. Он ловил себя на том, что подолгу стоит у окна и смотрит на дорогу, словно чего-то ждёт. Чего? Он не знал. Он не верил ни в судьбу, ни в предчувствия - Кавказ выжег из него эту веру. И всё же иногда, просыпаясь среди ночи, он чувствовал странное томление, будто жизнь его шла где-то мимо, по другой дороге, а он сидел на обочине и не мог встать.

Карета шла ровно, покачиваясь на рессорах. Кучер Евсей, огромный рыжебородый мужик, служивший ещё отцу, что-то негромко напевал на козлах. Лошади, четвёрка серых в яблоках, бежали лениво - жара разморила и их. Михаил снял сюртук, расстегнул ворот рубашки и смотрел в окно на ржа-

ное поле, на васильки, на далёкий лес.

До дома оставалось вёрст пятнадцать.

- Барин! - вдруг крикнул Евсей, и голос его был такой, что Михаил мгновенно выпрямился. - Михаил Ляксандрыч! Смотрите-ка!

Карета замедлила ход. Михаил высунулся из окна.

Впереди, на обочине, шла женщина.

Нет - не женщина. Девушка. Он понял это сразу, ещё издали, по тому, как тонка была её фигура, как узки плечи. На ней было что-то светлое, развевающееся, и в первую секунду Михаилу почудилось, что это видение, мираж, какие бывают в степи от сильного зноя. Он видел такие миражи в Дагестане: озёра, которых нет, города, которых нет. Но карета подъезжала ближе, и видение не исчезало.

Она шла прямо им навстречу, по самому краю канавы, и шла так, как ходят люди, которые давно перестали понимать, куда идут, - неровно, покачиваясь, иногда останавливаясь. Длинные тёмные волосы падали ей на спину. Платье - Михаил не поверил своим глазам - было бальное, с оборками, с кружевом, разорванное, грязное, волочащееся по пыли. И она была босиком.

- Стой, - сказал Михаил. - Евсей, стой!

Но Евсей и без того натянул вожжи. Лошади остановились, фыркая и мотая головами. Карета замерла шагах в двадцати от девушки.

Она тоже остановилась. Подняла голову. Михаил увидел

её лицо - бледное, исцарапанное, обожжённое солнцем, с запёкшейся кровью у виска. И глаза. Огромные, серые, светлые, как вода в роднике. В этих глазах было такое отчаяние и такой ужас, что Михаил, видевший в жизни многое, почувствовал, как у него похолодело внутри.

Девушка смотрела на карету. Губы её шевельнулись. Она сделала шаг назад, потом ещё один, словно хотела бежать - в поле, в рожь, куда угодно. Но ноги её не послушались. Она качнулась, взмахнула рукой, будто пытаясь ухватиться за воздух, и медленно, как подрубленный стебель, осела в пыль.

Михаил выпрыгнул из кареты прежде, чем она коснулась земли.

Он бежал к ней и потом не мог вспомнить, как добежал. Помнил только, что упал рядом с ней на колени прямо в пыль, что подхватил её голову, что её волосы были горячими от солнца, а лицо - неожиданно холодным, и что он долго не мог нащупать пульс, потому что пальцы у него дрожали.

Пульс был. Слабый, частый, прерывистый, как у загнанной птицы.

- Жива, - сказал он, не оборачиваясь. - Евсей, воды! Флягу!

Евсей уже был рядом, тяжело дыша, протягивал оплетённую флягу. Михаил смочил платок и провёл по её губам. Губы были сухие, растрескавшиеся до крови. Она не шевельнулась. Ресницы - длинные, тёмные - лежали на щеках непо-

движно.

- Господи Иисусе, - прошептал Евсей и перекрестился. - Барин, да что ж это... Откуда ж она такая? Смотрите, ноги-то... ноги-то!

Михаил посмотрел. Ступни её, выглядывающие из-под изодранного подола, были сбиты в кровь, покрыты ссадинами и порезами, распухли. Видно было, что она шла по этой дороге не час и не два. Он перевёл взгляд на висок. Под слипшимися волосами - рана, неглубокая, но рваная, нехорошая, с синевой вокруг. Такие раны бывают от удара - либо от падения на камень, либо от чего-то тяжёлого. На запястьях у неё он заметил тёмные пятна. Он осторожно повернул её руку - и стиснул зубы. Это были следы пальцев. Чьих-то сильных пальцев, сжимавших это тонкое запястье так, что остались синяки.

- Кто-то её бил, - сказал он глухо.

Евсей промолчал, только снова перекрестился.

Михаил огляделся. Дорога была пуста в обе стороны. Ни экипажа, ни всадника, ни пешехода. Только рожь, васильки и звенящий зной. Откуда она пришла? Ближайшая деревня - Сосновка - была позади, в пяти верстах. Ближайшая усадьба - помещика Ракитина - в стороне от тракта, и Михаил знал всех тамошних барышень: ни одна из них не была на неё похожа. А это платье... Такое платье не надевают в деревне. Такое платье надевают на бал - в губернском городе, в Москве, в Петербурге. И оно было новое - Михаил, сам не зная отку-

да, понял это: шёлк не выцвел, кружево не пожелтело. Платье, которое надели, может быть, всего несколько дней назад.

Что случилось с ней? Разбойники? Но разбойники забрали бы и платье, и эту жемчужную шпильку в волосах, и кольцо... Он посмотрел на её руки. Кольца не было. Но на безымянном пальце правой руки была тонкая полоска светлой, незагорелой кожи, будто кольцо сняли совсем недавно.

- Барин, - нерешительно сказал Евсей. - Может, в Сосновку её? К батюшке? Или к становому?

Михаил посмотрел на неё - на это бледное лицо, на запёкшуюся кровь, на синяки на запястьях - и вспомнил тот взгляд, которым она смотрела на карету. Она испугалась. Увидев экипаж, она испугалась так, что хотела бежать. Значит, она бежала от кого-то, у кого есть экипаж. От кого-то, кто может её искать. И если он отдаст её становому, становой первым делом начнёт выяснять, чья она, - и отдаст её тому, кто её ищет.

Он не знал, откуда в нём взялась эта уверенность. Но она была.

- Нет, - сказал он. - Домой. Мы везём её домой. И гони, Евсей. Гони так, как никогда не гонял.

Он поднял её на руки. Она была лёгкая, пугающе лёгкая, словно под этим ворохом шёлка и кружев ничего не было - одни птичьи косточки. Голова её запрокинулась, и он прижал её к своему плечу, чтобы не билась. От неё пахло пылью, болотом, кровью и - едва уловимо, где-то под всем этим

- фиалкой. Французской фиалковой водой, какую продают в лучших московских лавках.

Он внёс её в карету и уложил на сиденье, подложив под голову свой свёрнутый сюртук. Сам сел на пол, у её ног, чтобы держать её на поворотах. Евсей взлетел на козлы, свистнул так, что серые вздрогнули, и карета рванулась с места.

Это была безумная езда. Евсей гнал лошадей так, что они шли галопом, карету бросало из стороны в сторону, пыль поднималась за ней столбом, и встречный мужик на телеге шарахнулся в канаву, крестясь и ругаясь. Михаил держал девушку обеими руками, чтобы она не упала, и смотрел ей в лицо, и всё время ждал, что она откроет глаза.

Один раз она застонала. Тихо, жалобно, как ребёнок. Губы её шевельнулись, и он наклонился ближе.

- Не надо, - прошептала она. - Пожалуйста... не надо... я больше не буду...

У Михаила свело челюсти. Он взял её руку - холодную, вялую - и сжал в своей.

- Никто вас не тронет, - сказал он. - Слышите? Никто. Даю вам слово.

Она не слышала. Голова её снова безвольно склонилась на сюртук, и больше она не произнесла ни слова до самого Белого Ключа.

Но руки его она не отпустила. Пальцы её - он почувствовал это - чуть заметно сжались вокруг его пальцев, и так и остались, и он не смел шевельнуться, чтобы не разжать их.

Карета мчалась через рожь, через лес, через мост над узкой речкой, мимо часовни на развилке, мимо мельницы. Солнце клонилось к западу, тени становились длиннее. Михаил сидел на полу кареты, держал за руку незнакомую девушку в разорванном бальном платье и думал о том, что час назад жаловался на скуку.

Когда впереди, за поворотом аллеи, показались белые колонны Белого Ключа, освещённые закатным солнцем, он вдруг понял, что та странная тоска, которая томила его все эти месяцы, исчезла. Её место заняло что-то другое - острое, тревожное и живое. Он не знал, что это. Он только знал, что не отдаст эту девушку никому.

Евсей осадил лошадей у самого крыльца так, что из-под колёс брызнул гравий. На ступенях уже стояли люди - дворецкий Никанор, лакеи, кто-то из горничных. В окне второго этажа мелькнуло встревоженное лицо матери.

- Доктора! - крикнул Михаил, выходя из кареты с девушкой на руках. - Никанор, немедленно пошли за Фёдором Карловичем. Верхового, на лучшей лошади. Скажи - пусть бросает всё и едет. Скажи - дело жизни и смерти.

И, не дожидаясь ответа, понёс её вверх по белым ступеням, в дом.

Глава 2

Дом в Белом Ключе построил прадед Михаила, генерал-аншеф Озёрский, при Екатерине, - построил по чертежам итальянского архитектора, выписанного из Петербурга за немыслимые деньги, и с тех пор соседи называли его не иначе как дворцом. Это и был дворец: два этажа белого камня, восемь колонн коринфского ордера, бельведер с куполом, два флигеля, соединённые с главным корпусом полукруглыми галереями. Окна большой залы выходили в парк, где липовые аллеи спускались к пруду, а по берегам стояли мраморные статуи - Флора, Помона, Диана с отбитым носом, над которой Катя в детстве плакала, считая, что богине больно.

В этот вечер дом гудел, как растревоженный улей.

Михаил пронёс девушку через вестибюль, мимо онемевших лакеев, вверх по парадной лестнице, - и остановился наверху, не зная, куда идти. Его собственные комнаты были в левом крыле; там было неудобно и не подходило. Комнаты Кати были рядом с материнскими. Гостиные покои...

- В Голубую, - раздался за его спиной спокойный голос. - Михаил, неси её в Голубую комнату. Там постелено.

На верхней площадке стояла мать. Княгиня Варвара Петровна Озёрская была высокая худая женщина пятидесяти лет, с прямой спиной и седыми волосами, уложенными под

кружевную наколку. Она носила траур по мужу второй год и, кажется, не собиралась его снимать. У неё было лицо, которое в молодости называли «камеей», - тонкое, правильное, холодное. Многие считали её гордячкой. Михаил знал, что под этой холодностью она прячет такую ранимость, что любое резкое слово может ранить её на месяцы. Но сейчас она была совершенно спокойна. Она посмотрела на девушку у него на руках - один долгий взгляд, от спутанных волос до босых израненных ног, - и только губы её чуть сжались.

- Дуняша! - сказала она, не повышая голоса. - Горячей воды, чистого полотна, корпии. Марфу из бельевой - с ночной рубашкой, с моей, батистовой. Аграфену - пусть приготовит уксус и лёд с ледника. Живо.

Девушки бросились исполнять. Михаил прошёл в Голубую комнату - просторную, с голубым штофом на стенах, с кроватью под пологом, с окнами в сад - и осторожно положил незнакомку на постель. Она не шевельнулась. Голова её утонула в подушке, тёмные волосы рассыпались по белому полотну.

- Где ты её взял? - спросила мать, подходя.

- На тракте. За Сосновкой. Она шла пешком, одна. Упала прямо перед каретой.

Варвара Петровна наклонилась над постелью. Она смотрела долго. Потом протянула руку и осторожно, двумя пальцами, отвела волосы с виска. Увидела рану. Перевела взгляд на запястья. Михаил видел, как изменилось её лицо: камей

треснула, под ней проступило что-то живое, женское, жалеемое.

- Бедное дитя, - сказала она очень тихо. - Бедное, бедное дитя.

И тут же выпрямилась, и лицо её снова стало строгим.

- Выйди, Михаил. Нам нужно её раздеть и обмыть. Ты здесь не нужен.

- Маменька...

- Выйди. Ты сделал, что мог. Теперь дело женщин и Фёдора Карловича. Ступай вниз и вели подать себе ужин. Ты весь в пыли.

Он вышел. Но вниз не спустился. Он ходил по галерее взад и вперёд, мимо портретов предков, мимо высоких окон, за которыми гасло небо, - и прислушивался к звукам за дверью Голубой комнаты: к плеску воды, к приглушённым голосам горничных, к короткому сдавленному «ах», которое вырвалось у кого-то из них, должно быть, когда сняли платье. Он не хотел думать о том, что они там увидели. Он думал.

На галерею выскочила Катя.

Ей было семнадцать лет, и она была полной противоположностью матери - маленькая, круглолицая, румяная, с вздёрнутым носом и копной светлых кудрей, которые никак не желали лежать в причёске. Она читала романы, сочиняла стихи в альбом, влюблялась ежемесячно - то в учителя музыки, то в соседского гусара, то в героя Марлинского - и была уверена, что жизнь её непременно сложится необыкновенно.

- Мишель! - Она схватила брата за рукав. - Это правда? Дуняша говорит, ты привёз даму в бальном платье, без туфель, и она умирает? Кто она? Откуда? Она красивая? Её похитили разбойники? Ты её спас?

- Катя, тише.

- Но кто она?

- Не знаю.

- Как - не знаешь?

- Не знаю, - повторил Михаил. - Она не сказала ни слова. То есть сказала, но... - Он вспомнил: «Не надо... я больше не буду...» - и замолчал.

Катя смотрела на него круглыми глазами.

- Мишель, - сказала она медленно, - у тебя такое лицо... Я никогда не видела у тебя такого лица.

Он не ответил. Внизу, на подъездной аллее, застучали копыта.

* * *

Доктор Фёдор Карлович Штерн жил в уездном городе, в двенадцати верстах, и лечил всех - помещиков и крестьян, купцов и мещан, - лечил хорошо, брал недорого, а с бедных не брал вовсе. Он был сыном немца-аптекаря и русской попадьи, учился в Дерптском университете, потом в Вене, мог бы сделать карьеру в столице, но не захотел. Ему было сорок три года. Он был худ, лыс, носил очки в стальной оправе и курил трубку с длинным чубуком. Отец Михаила считал его лучшим другом, а Михаил после смерти отца - единствен-

ным человеком в уезде, с которым можно говорить откровенно.

Он вошёл в вестибюль быстро, на ходу стягивая перчатки, с саквояжем в руке, запылённый, без шляпы - видно, гнал верхом.

- Где больной? - спросил он, не здороваясь. - Твой верховой чуть не загнал лошадь, Мишель. Сказал - дело жизни и смерти. Что стряслось? Мать?

- Нет. Наверху. Голубая комната. Фёдор Карлович, это... я сейчас объясню.

Он объяснил - коротко, поднимаясь по лестнице. Штерн слушал, не перебивая, только хмурился всё сильнее.

У дверей Голубой комнаты их встретила Варвара Петровна. Она уже переоделась, но лицо её было бледнее обычного.

- Фёдор Карлович, слава Богу, - сказала она и, понизив голос, добавила: - Михаил, останься здесь.

Дверь закрылась перед его носом.

Он ждал. Он сидел на банкетке у окна, потом вставал, потом снова садился. Катя принесла ему чай, он выпил его, не почувствовав вкуса. Принесла пирожки - он не стал есть. Стемнело. Лакей прошёл по галерее, зажигая свечи в бронзовых жирандолях. За окном зажглась первая звезда. Где-то в парке закричал коростель.

Прошло больше часа, прежде чем дверь снова открылась и вышел Штерн. Он закрыл за собой дверь, снял очки, протёр их платком и надел снова - так он делал всегда, когда не

знал, с чего начать.

- Ну? - спросил Михаил.

- Сядь.

- Фёдор Карлович!

- Сядь, я тебе говорю. - Штерн сам опустился на банкетку и достал трубку, но раскуривать не стал, только вертел в пальцах. - Значит, так. Сотрясение мозга. Удар в левую височную область - тупым предметом либо при падении на что-то твёрдое. Кость, кажется, цела, но удар был сильный. Солнечный удар вдобавок - она шла по жаре без шляпы, и, судя по ожогам, не один день. Истощение - крайнее. Обезвоживание. Ноги... - Он покачал головой. - Ноги в ужасном состоянии. Порезы, ссадины, занозы, один порез глубокий, у пятки, - я боюсь, как бы не началось воспаление. Я всё промыл и перевязал. Это заживёт. Если она будет жить.

- Если?

- Если, Мишель. Я не стану тебя обманывать. Она очень слаба. У неё начинается жар. К утру, вероятно, будет горячка. Сердце работает плохо. Она молода, это за неё. Но она измучена до последней степени - и не только телом, если ты понимаешь, о чём я.

Михаил понимал.

- Синяки, - сказал он. - На руках.

Штерн помолчал.

- Не только на руках, - сказал он наконец. - Твоя матушка видела. Я видел. На плечах, на спине. Некоторые свежие,

некоторые старые, уже пожелтевшие. Кто-то бил эту девочку, Мишель. Бил долго, не один раз и не одну неделю. И бил умело - так, чтобы не было видно под платьем.

Михаил встал. Подошёл к окну. Постоял, глядя в темноту, и Штерн видел, как сжались его кулаки.

- Кто? - сказал он, не оборачиваясь.

- Не знаю. Отец. Опекун. Муж. - Штерн помолчал. - Она не девица из простых, это ясно. Руки у неё не знали работы. Кожа нежная. Зубы прекрасные. Ногти ухоженные - то есть были ухоженные, до того как она стала цепляться ими за что попало. Она из хорошей семьи, Мишель. Из очень хорошей.

- И что мне делать?

- Тебе? - Штерн наконец раскурил трубку и выпустил клуб дыма. - Тебе - ничего. Ждать. Молиться, если ты умеешь. А я останусь здесь. На эту ночь - точно, а дальше видно будет. Пошли кого-нибудь ко мне домой, пусть скажут Матрёне, что я у Озёрских, и пусть всех больных отправляет к фельдшеру. Кроме роженицы Сидоровой - если у той начнётся, пусть шлют за мной сюда.

* * *

Горячка началась в ту же ночь.

К полуночи девушка горела так, что Дуняша, сидевшая у постели, прибежала к княгине в слезах: барышня мечется, барышня кричит, барышня никого не узнаёт. Штерн поднялся из кресла, где дремал, не раздеваясь, и до рассвета не отходил от неё - менял холодные компрессы, вливал по ложке

какую-то микстуру, считал пульс, хмурился.

Михаил не спал. Ему не позволили войти - мать была непреклонна: незамужняя девица, незнакомая, в одной рубашке, в постели - и мужчина в комнате? Нет, нет и нет. Он сидел за дверью, на той же банкетке, и слушал.

Она кричала. Не громко - сил у неё не было, - но так, что у него стыла кровь. Она звала кого-то. Она умоляла кого-то. Она говорила по-французски - быстро, бессвязно, обрывками: «Non, non, je vous en prie... laissez-moi... maman...» Потом по-русски: «Папенька, не отдавайте... папенька, я буду послушной... не отдавайте меня ему...» Потом замолкала надолго, и эта тишина была ещё страшнее. Потом снова: «Темно... здесь темно... откройте... откройте дверь...»

Один раз она закричала в полный голос - пронзительно, отчаянно, - и Михаил, не помня себя, распахнул дверь.

В комнате горела одна свеча на ночном столике. Девушка сидела на постели - откуда только взялись силы - и смотрела в угол, где никого не было. Белая рубашка сползла с плеча. Волосы, кое-как заплетённые горничными в косу, растрепались. Глаза - широко раскрытые, огромные, невидящие - горели лихорадочным блеском.

- Он здесь, - сказала она отчётливо, глядя в пустой угол.
- Он пришёл. Он всегда приходит. Он стоит и смотрит. Скажите ему, чтобы ушёл. Пожалуйста, скажите ему.

Штерн держал её за плечи и пытался уложить. Дуняша плакала в углу. Мать стояла у изножья кровати, прижав руку

к губам.

Михаил шагнул к постели. Мать сделала движение - остановить его, - но он не заметил. Он опустился на колени возле кровати, так, чтобы оказаться между девушкой и тем пустым углом, и взял её за руку.

- Его здесь нет, - сказал он. Голос у него был спокойный, ровный, - тот голос, которым он когда-то говорил с ранеными солдатами в лазарете под Ахульго. - Смотрите на меня. Только на меня. Его здесь нет. Он ушёл. Я его прогнал.

Она медленно повернула голову. Лихорадочные глаза остановились на его лице. Он не знал, видит ли она его, понимает ли. Но она смотрела.

- Вы его прогнали? - спросила она шёпотом.

- Да.

- Совсем?

- Совсем. Он больше не придёт. Я не пущу.

Она смотрела на него долго, очень долго. Потом губы её дрогнули, и по щеке скатилась слеза.

- Вы тот, из кареты, - сказала она. - Вы сказали... никто не тронет. Я слышала. Я думала, мне приснилось.

- Вам не приснилось.

Она закрыла глаза. Пальцы её сжали его руку - так же, как тогда, в карете, - и она медленно опустилась на подушку. Через минуту дыхание её стало ровнее.

Штерн, всё ещё державший её плечо, посмотрел на Михаила поверх очков. Взгляд у него был странный.

- Ну-ну, - пробормотал он. - Ну-ну.

Варвара Петровна молчала. Потом сказала - сухо, но без прежней непреклонности:

- Можешь остаться. Но дверь будет открыта, и Дуняша будет здесь. И я тоже.

* * *

Так прошли три ночи и три дня.

Горячка то отступала, то возвращалась с новой силой. Днём девушке становилось легче: она лежала тихо, с закрытыми глазами, иногда пила с ложки воду или бульон, который Аграфена варила по особому рецепту Штерна, и только иногда стонала, когда доктор менял повязки на ногах. Ночью начинался бред. Она снова видела кого-то в углу, снова кричала, снова умоляла не запираť её в темноте. И снова успокаивалась, только когда Михаил брал её за руку.

Это заметили все. Горничные шептались по углам. Катя смотрела на брата с благоговейным восторгом героини романа. Штерн хмыкал и протирал очки. Мать молчала - и молчание её становилось всё тяжелее.

На второй день Варвара Петровна вызвала к себе Дуняшу и велела принести платье, в котором привезли незнакомку.

Платье лежало в бельевой, свёрнутое, - его собирались выбросить или сжечь, потому что ничего уже нельзя было с ним сделать. Княгиня развернула его на столе и долго рассматривала. Тонкий лионский шёлк. Брюссельское кружево - настоящее, ручной работы. Серебряная нить. На изнанке лифа

- крошечная шёлковая этикетка с вышитыми буквами: «M-me Leclerc. Moscou. Pont des Maréchaux». Мадам Леклер на Кузнецком мосту. Варвара Петровна знала это имя - знала, сколько стоят платья у мадам Леклер. Одно такое платье - две тысячи рублей ассигнациями. Самое меньшее.

В потайном кармашке, вшитом в складки юбки, - их держали для флакончика с нюхательной солью или для записки - она нашла носовой платок. Батистовый, тонкий, как лепесток, смятый, в бурых пятнах. В углу была вышита монограмма. Две буквы, переплетённые с цветочным узором: «В» и «Ш». А над ними - маленькая корона. Девятизубцовая. Графская.

Варвара Петровна долго держала платок в руках. Потом сложила его, убрала в свою шкатулку для рукоделия и заперла её на ключ.

- Платье сжечь, - сказала она Дуняше. - И никому ни слова.

Дуняша присела и унесла платье. Княгиня осталась сидеть у стола, глядя в окно на парк, на липовые аллеи, на пруд, в котором отражалось вечернее небо. Лицо её было неподвижно. Только пальцы перебирали чётки - быстро, нервно, - и губы шевелились беззвучно.

Она ничего не сказала сыну. Ни в тот вечер, ни на следующий день.

* * *

На четвёртую ночь наступил кризис.

Жар поднялся так высоко, что Штерн, считая пульс, перестал хмуриться и стал очень спокоен - и Михаил, знавший его много лет, понял, что это худший знак. Девушка уже не кричала. Она лежала неподвижно, с закрытыми глазами, и дыхание её было частым и поверхностным, как у птенца, выпавшего из гнезда. Щёки горели. Губы запеклись. Иногда по телу её пробегала дрожь.

- Если до рассвета жар не спадёт... - сказал Штерн и не договорил.

Варвара Петровна стояла на коленях перед киотом в углу и молилась. Катя сидела на полу у двери, обхватив колени, и тихо плакала. Дуняша меняла компрессы.

Михаил сидел у постели и держал её руку в своих ладонях. Он не молился. Он не умел. Он перестал уметь где-то на Кавказе, когда увидел, как пуля, прилетевшая неведомо откуда, убила полкового священника посреди молебна. Но он говорил с ней. Тихо, почти беззвучно, наклонившись к самому её уху, он говорил ей всё, что приходило в голову. Он рассказывал ей о Белом Ключе - о роднике под берёзами, о статуе Дианы с отбитым носом, о старом дубе на краю парка, в дупле которого он прятал в детстве свои сокровища: пули, найденные на месте давнего сражения, и перо филина. Он рассказывал ей о Кавказе - о горах, о снеге на вершинах, который в рассветный час становится розовым, как... как её платье. О горных реках, о звёздах, которые там такие огромные, что кажется - можно достать рукой. Он рассказывал ей

о матери, о Кате, об отце, о книгах, которые любил. Он говорил ей, что она должна жить. Что ей нельзя умирать. Что здесь никто её не обидит. Что здесь - тихо, и светло, и безопасно. Что он не позволит.

Он говорил, пока не охрип. А когда охрип - просто сидел и держал её руку, и смотрел ей в лицо, и ждал.

Свеча догорела. Дуняша зажгла новую. Где-то в доме пробили часы - три раза. Потом четыре. За окном начало сереть небо. В саду проснулась первая птица - несмело, неуверенно, словно спрашивая: можно? - и смолкла.

И тогда Михаил почувствовал, что рука девушки в его ладонях стала влажной.

Он поднял голову. На её лбу выступили капли пота. Потом ещё. Потом пот потёк по вискам, по шее, рубашка на груди потемнела. Дыхание её - он прислушался - стало глубже. Реже. Спокойнее.

- Фёдор Карлович, - сказал он хриплым шёпотом.

Штерн, задремавший в кресле, мгновенно проснулся. Подошёл. Положил ладонь ей на лоб. Взял запястье, достал часы, стал считать. Считал долго. Потом спрятал часы и выпрямился.

- Ну, - сказал он, и голос у него был странно сдавленный. - Ну, слава тебе, Господи. Жар спадает. Кризис миновал, Варвара Петровна. Будет жить.

Княгиня перекрестилась и, опершись на руку горничной, тяжело поднялась с колен. Катя всхлипнула в голос. Дуняша

заплакала навзрыд.

Михаил ничего не сказал. Он сидел и смотрел, как за окном разгорается рассвет. Небо над парком из серого стало жемчужным, потом розовым - тем самым нежно-розовым цветом, каким было когда-то её платье. Птицы в саду проснулись все разом и запели так, будто тоже знали.

Он только сейчас почувствовал, что по лицу у него текут слёзы. Он не плакал с того дня, как держал на руках умирающего юнкера под Ахульго.

Он не вытирал их. Он сидел и держал её за руку, а она спала - глубоким, ровным, целительным сном, - и на губах у неё, впервые за все эти дни, было что-то похожее на тень улыбки.

Глава 3

Она проснулась от света.

Свет был мягкий, золотистый, процеженный сквозь кисейные занавески. Он лежал на потолке длинными полосами, и в этих полосах плавали пылинки - медленно, лениво, как рыбки в пруду. Она долго смотрела на них, не думая ни о чём. Ей было хорошо. Впервые за бесконечно долгое время ей не было ни больно, ни страшно, ни жарко, ни холодно. Она лежала на чём-то мягком, прохладном, пахнущем лавандой, и тело её было лёгким, почти невесомым, будто она плыла по тёплой воде.

Потом она пошевелила рукой - и почувствовала, что рука тяжёлая, чужая, слабая, как у новорождённого котёнка. Это её удивило. Она попробовала поднять голову - и комната качнулась, и в виске толкнулась тупая боль. Она тихо охнула и снова опустила голову на подушку.

И тогда увидела его.

В кресле у окна, неловко склонив голову на плечо, спал мужчина. Он был в белой рубашке с расстёгнутым воротом, без сюртука; рукава закатаны до локтей. Тёмные волосы падали на лоб. Лицо - худое, загорелое, с резкими скулами и твёрдым подбородком - во сне казалось усталым и почему-то очень молодым. На щеке темнела щетина, как будто он не брился несколько дней. Одна рука его лежала на подлокот-

нике кресла, другая свисала вниз, почти касаясь пола, и пальцы были чуть согнуты, словно ещё недавно держали что-то и отпустили.

Она смотрела на него и не знала, кто он.

Но она знала его руки. Это было странно, необъяснимо, но это было так: она знала эти руки, знала их тепло, их силу, их сухую шершавость. Они держали её, когда она тонула. Когда темнота подступала со всех сторон и тот, кто стоял в углу, протягивал к ней свои пальцы, - эти руки держали её и не отпускали. И голос. Она помнила голос - низкий, спокойный, говоривший ей о горах, о снеге, о розовом рассвете, о роднике под белыми берёзами...

- Вы... - сказала она. Голос вышел тихим и хриплым, едва слышным.

Но он услышал. Он вздрогнул, открыл глаза - карие, тёмные, неожиданно тёплые - и мгновенно выпрямился в кресле. Несколько секунд он смотрел на неё, будто не веря. Потом встал и подошёл к постели - осторожно, медленно, как подходят к пугливому зверьку.

- Вы проснулись, - сказал он. И улыбнулся. Улыбка у него была неожиданная - она совершенно меняла его лицо, делала его мягким, почти мальчишеским. - Слава Богу. Как вы себя чувствуете?

Она подумала.

- Не знаю, - сказала она честно. - Хорошо. Странно. Голова болит. И я... я не могу пошевелиться.

- Это слабость. Вы были очень больны. Доктор говорит, силы вернутся, но не сразу. - Он помолчал. - Хотите пить?

Она хотела. Он налил воды из графина на столике, приподнял её голову - бережно, как стеклянную, - и поднёс стакан к губам. Вода была прохладная, с привкусом мёда и чего-то кислого - клюквы? Она сделала несколько глотков, и он опустил её обратно на подушку.

- Где я? - спросила она.

- В Белом Ключе. Это моё имение, под Тверью. Я нашёл вас на дороге - вы, наверное, не помните. Вы упали прямо перед моей каретой. Это было... - Он задумался. - Шесть дней назад.

- Шесть дней, - повторила она. Это было непостижимо. Шесть дней - и она ничего не помнила, кроме темноты, жара, того, кто стоял в углу... и этих рук. - Вы... вы держали меня за руку. Да? Мне не приснилось?

Он, кажется, смутился. Немного покраснел - под загаром это было почти незаметно.

- Не приснилось. Вам было очень плохо. Вы... вы пугались, а когда я держал вас за руку, вы успокаивались. Доктор разрешил. И матушка была здесь. И горничная. - Он торопливо добавил это, и она почему-то поняла, что это важно - что мать была здесь и горничная.

- Спасибо вам, - сказала она.

Он покачал головой: не за что. Потом спохватился:

- Простите. Я не представился. Князь Михаил Алексан-

дрович Озёрский. К вашим услугам.

Он чуть поклонился - машинально, по привычке, - и она подумала, что у него военная выправка. Он, верно, служил. Она не знала, откуда это знает.

- Очень приятно, - сказала она, и это тоже прозвучало машинально, как заученная фраза. - Я...

И остановилась.

Она должна была назвать себя. Это было просто: он назвал своё имя, теперь её очередь. Она открыла рот - и ничего. Пустота. Белая, звенящая пустота, та самая, что была на дороге. Она попыталась снова. «Меня зовут...» - и снова ничего. Как будто она стояла перед закрытой дверью, за которой было её имя, её прошлое, вся её жизнь, - а ключа не было.

- Я... - повторила она, и голос её дрогнул.

Он смотрел на неё внимательно, и лицо его медленно менялось.

- Не торопитесь, - сказал он мягко. - Вы ещё очень слабы.

- Нет. - Она хотела приподняться, но не смогла. Рука её беспомощно скомкала край одеяла. - Нет, вы не понимаете. Я не помню. Я не помню, как меня зовут. Я не помню... ничего. Откуда я. Кто мои родители. Где мой дом. Как я оказалась на дороге. Я ничего не помню!

Последние слова она почти выкрикнула - насколько хватило сил, - и тут же задохнулась, и закашлялась, и в виске снова заколотилась боль. Мир поплыл. Комната закружилась, как карусель, пылинки в солнечных лучах преврати-

лись в огненные искры.

Он был рядом мгновенно. Он сел на край постели - потом, наверное, вспомнил, что так не подобает, но не встал, - и взял её за руку. Так же, как тогда.

- Тихо, - сказал он. - Тихо. Дышите. Медленно. Вот так.

Она дышала. Медленно. Вот так. Его рука была тёплой и сухой, и под её пальцами билась жилка на его запястье - ровно, спокойно. Она слушала это биение, и карусель постепенно замедлялась, и искры снова становились пылинками.

- Я не помню, - прошептала она. По щекам у неё текли слёзы, и она не могла их вытереть. - Почему я не помню?

- Не знаю. Но доктор знает. Он скоро придёт - он ночевал здесь и только под утро уехал к роженице. Он вам объяснит. А пока - не бойтесь. Пожалуйста. Здесь вам ничего не грозит.

- Я не боюсь, - сказала она и поняла, что это неправда. Она боялась. Она боялась так, что у неё холодело внутри. Не того, что не помнит. Того, что вспомнит.

* * *

Фёдор Карлович Штерн приехал к полудню, усталый, но довольный - роженица Сидорова благополучно разрешилась двойней. Он осматривал больную долго и тщательно: смотрел зрачки, светил в глаза свечой, ощупывал голову, задавал вопросы.

Какой сейчас год? Она подумала и сказала: тысяча восемьсот тридцать девятый. Правильно. Кто царствует? Государь император Николай Павлович. Правильно. Сколько

будет семью восемь? Пятьдесят шесть. Как по-французски «окно»? La fenêtrе. А по-немецки? Das Fenster. А по-английски? Она подумала. Window. Штерн поднял брови. Прочтите, что здесь написано. Он дал ей книгу, раскрытую наугад; она прочла - это был Карамзин, «Бедная Лиза», - прочла бегло, хоть буквы и прыгали перед глазами. Можете ли вы прочесть «Отче наш»? Она прочла. А «Богородице Деве»? Прочла. А помните ли вы, что такое менуэт? Она даже чуть улыбнулась: помнит. Кадриль? Помнит. Мазурка? Котильон? Помнит, помнит.

Как вас зовут?

Молчание.

Где вы живёте? Как зовут вашу матушку? Вашего батюшку? Есть ли у вас братья, сёстры? В каком городе вы бывали на балах? Как вы оказались на дороге? Что случилось с вами перед тем?

Молчание. Молчание. Молчание.

На последнем вопросе она побелела так, что Штерн отставил свечу и взял её за запястье.

- Не нужно, - сказал он. - Не думайте об этом сейчас. Это был последний вопрос. Больше не буду.

Он вышел из комнаты и сказал Михаилу и княгине, ожидавшим в будуаре рядом:

- Retrograde Amnesie. Ретроградное беспамятство. Описано у многих авторов - у Рибо, у Эскироля. После сильного удара по голове, после сильного потрясения человек забыва-

ет то, что было с ним прежде. Иногда - несколько часов перед ударом. Иногда - несколько лет. А иногда, очень редко, - всё. Имя, родных, всю свою жизнь. При этом он помнит, как читать, писать, говорить на языках, какой нынче год, как танцуют мазурку. Он помнит всё, чему его учили, - кроме самого себя.

- И это пройдёт? - спросил Михаил.

Штерн пожал плечами.

- Может пройти. Обычно проходит - постепенно или вдруг, от какого-нибудь толчка: знакомого запаха, мелодии, лица. А может не пройти никогда. Я читал о случае в Эдинбурге - моряк, упавший с мачты, так и не вспомнил, кто он, до самой смерти. Женился, прожил тридцать лет под другим именем.

- А как её лечить?

- Никак. Покой, хорошая пища, сон. Не тормозить её вопросами. Не давить на неё. - Штерн помолчал, протирая очки. - И вот что я тебе скажу, Мишель, и вам, Варвара Петровна. Я не уверен, что дело только в ударе.

- Что вы имеете в виду? - спросила княгиня. Голос у неё был ровный, но пальцы её стиснули чётки.

- Я имею в виду, что иногда человек забывает не потому, что не может вспомнить. А потому, что не хочет. Потому что помнить - слишком страшно. Душа, понимаете, защищает себя, как тело защищается от раны - затягивает её коркой. Вы видели, какой она стала, когда я спросил, что с ней слу-

чилось. Она испугалась. Не того, что не помнит. Того, что может вспомнить.

Они помолчали.

- Значит, - сказал Михаил медленно, - если мы будем искать её семью...

- Значит, если вы будете искать её семью, вы можете найти того, кто оставил ей эти синяки, - договорил Штерн. - Подумай об этом, Мишель. Подумай хорошенько.

Варвара Петровна смотрела в окно. Чётки в её пальцах замерли.

* * *

Вечером Михаил снова пришёл к ней.

Она не спала. Лежала, глядя в потолок, где уже не было солнечных полос, а были длинные тени от свечи. Дуняша сидела в углу с вязаньем и, увидев князя, понимающе подвинулась ближе к двери - оставаясь, однако, в комнате.

- Можно? - спросил он.

Она кивнула. Он сел в то же кресло у окна - на почтительном расстоянии.

- Доктор сказал вам? - спросила она.

- Да.

- Он сказал, что, может быть, я никогда не вспомню.

- Он сказал - может быть. А может быть, вспомните завтра.

Она помолчала. Потом сказала, глядя не на него, а в потолок:

- Я не хочу вспоминать. Это дурно, да? Я должна хотеть.

Где-то, наверное, есть люди, которые меня ищут. Которые беспокоятся. Матушка, может быть... Но я лежу здесь и думаю: Господи, только бы не вспомнить. И мне от этого стыдно. И страшно. - Она повернула голову и посмотрела на него. Серые глаза её в свете свечи казались почти чёрными. - Михаил Александрович, вы будете их искать? Моих... тех, кто меня ищет?

Он ответил не сразу. Он думал о том, что сказал Штерн. И о синяках на её плечах. И о том, как она кричала в бреду: «Папенька, не отдавайте меня ему». И о том, что он, как честный человек и дворянин, обязан сообщить о найденной девице предводителю, исправнику, в газеты. Что где-то, может быть, и правда плачет мать. Что он не имеет права...

- Нет, - сказал он. - Не буду. Пока вы сами меня не попросите.

Она долго смотрела на него. Потом закрыла глаза.

- Спасибо, - прошептала она.

- Но у вас должно быть имя, - сказал он после паузы, нарочно лёгким тоном, чтобы разогнать тяжесть, повисшую в комнате. - Не могу же я называть вас «сударыня». А Катя - это моя сестра, вы с ней скоро познакомитесь, она умирает от любопытства и ломится в дверь каждые полчаса - Катя уже придумала вам добрую дюжину имён. Изольда. Ундина. Светлана - в честь Жуковского. Людмила - в честь Пушкина. Татьяна - тоже в честь Пушкина. И Мальвина, но это, кажется, в честь французского романа, который маменька запре-

тила ей читать, а она прочла всё равно.

Она тихо засмеялась - впервые. Смех был слабый, похожий на звон колокольчика где-то очень далеко. Он вдруг подумал, что отдал бы многое, чтобы слышать его чаще.

- Ундина, - сказала она. - Нет. Это слишком печально. Ундина ведь погибла.

- Изольда тоже. И Людмилу похитил колдун.

- А Светлане снилось, что её жених мертвец.

- А Татьяну выдали замуж за генерала, - сказал он и тут же пожалел - потому что лицо её изменилось. Будто тень набежала. Она отвернулась к стене.

- Простите, - сказал он торопливо, сам не понимая, за что извиняется.

- Ничего. - Голос её был глухим. - Ничего. Просто... мне вдруг стало холодно. Не знаю почему.

Они помолчали. За окном в саду кричал коростель - тот же самый, что кричал в ночь её приезда. Свеча потрескивала.

- А как бы вы меня назвали? - спросила она вдруг, не поворачиваясь. - Вы сами?

Он думал недолго. Ответ был готов давно - с той минуты, когда на рассвете четвёртой ночи жар её спал и по небу за окном разлилась розовая заря.

- Надеждой, - сказал он.

Она медленно повернулась к нему.

- Почему?

Он хотел сказать: потому что в ту ночь, когда вы умирали,

я думал, что у меня не осталось ничего, кроме надежды. Поэтому что я смотрел, как вы дышите, и считал каждый вдох, и надеялся. Потому что вы пришли ко мне по пустой дороге, когда я сам уже ни на что не надеялся. Но сказать это было невозможно - не сейчас, не ей, не при Дуняше с вязаньем.

- Потому что вам нужна надежда, - сказал он. - Что всё будет хорошо. Что вы вспомните - или не вспомните, но будете счастливы. Что всё дурное позади.

Она смотрела на него долго, не мигая. Потом губы её дрогнули в слабой улыбке.

- Надежда, - повторила она, словно пробуя слово на вкус. - Надя. Наденька. - Помолчала. - Мне нравится. Да. Пусть будет Надежда.

- Надежда... - Он запнулся. - А по бабушке?

Она пожала плечами - едва заметно, под одеялом.

- Не знаю. Пусть будет просто Надежда. Пока.

- Пока, - согласился он.

Он встал, поклонился и пожелал ей доброй ночи. У двери обернулся. Она лежала, глядя ему вслед, и в свете свечи её лицо было бледным, худым, с заострившимися скулами, с синевой под глазами, - и всё равно красивым той удивительной, ни на что не похожей красотой, которую он заметил ещё там, на дороге, под слоем пыли и крови.

- Доброй ночи, Надежда, - сказал он.

- Доброй ночи, Михаил Александрович.

Когда дверь за ним закрылась, она ещё долго лежала без

сна. Она подняла правую руку - с трудом, она была ещё очень тяжёлая - и поднесла к глазам. На безымянном пальце, у самого основания, белела тонкая незагорелая полоска. Будто там долго было что-то, что потом сняли.

Она смотрела на эту полоску, и ей становилось холодно - так же холодно, как тогда, когда он сказал про Татьяну и генерала. Что-то шевельнулось на самом дне тёмной воды. Что-то огромное, тяжёлое, страшное.

Она быстро опустила руку под одеяло и зажмурилась.

«Надежда, - сказала она себе. - Меня зовут Надежда. Я живу в Белом Ключе. У родника под белыми берёзами. И больше ничего нет. Больше ничего не было».

И уснула, повторяя это, как молитву.

* * *

А в другом крыле дома, в своей спальне, при одной свече, княгиня Варвара Петровна сидела у туалетного столика и смотрела на батистовый платок с вышитой монограммой.

«В» и «Ш». И девятизубцовая графская корона.

Она знала всех графских жён в губернии. Их было немного, и ни одна не подходила. Она перебрала в памяти московских знакомых - тех, о ком слышала. Графиня Шереметева? Нет, Боже упаси, это совсем другое. Графиня Шувалова? Те в Петербурге. Шаховские - князья, не графы. Шелестовы...

Она задумалась. Шелестовы. Было что-то... Да. Граф Аристарх Шелестов, вдовец, богач, имение где-то на границе с Новгородской губернией. Говорили, что первая жена его

умерла несколько лет назад - то ли упала с лестницы, то ли... Говорили о нём нехорошо. Говорили шёпотом. Но Варвара Петровна не любила сплетен и не слушала их.

Может быть, это и не Шелестовы. Мало ли графов на свете с фамилией на «Ш». Может быть, платок вообще чужой - подарок, или взят у подруги, или...

Но тонкая белая полоска на безымянном пальце. Она тоже её видела.

Варвара Петровна долго сидела неподвижно. Потом сложила платок, убрала в шкатулку и заперла её. Ключ повесила на цепочку, рядом с нательным крестом.

«Я скажу ему, - думала она. - Непременно скажу. Завтра. Или когда она окрепнет. Или когда что-нибудь прояснится. Нельзя тревожить её сейчас. Нельзя тревожить его. Он так смотрит на неё...»

Она знала, как её сын смотрит на эту девушку. Она видела этот взгляд однажды - у его отца, тридцать лет назад, когда тот впервые увидел её саму на балу в Благородном собрании.

Именно поэтому ей было так страшно.

Она задула свечу и долго молилась в темноте.

Глава 4

Выздоровление шло медленно, как всякое настоящее выздоровление.

Первую неделю Надежда не вставала с постели. Она много спала - по двенадцать, по четырнадцать часов, - и Штерн, приезжавший через день, говорил, что это хорошо, что сон лечит лучше всех его микстур. Когда она не спала, она лежала и смотрела в окно, на верхушки лип, на облака, на ласточек, которые носились над парком с пронзительным счастливым писком. Ей приносили бульон, кисель, протёртую курицу, потом - творог со сметаной, потом - пирожки с капустой, которые Аграфена пекла специально для неё и которые она полюбила больше всего на свете.

Катя приходила каждый день.

Первый раз она ворвалась в комнату, как маленький светловолосый вихрь, остановилась у постели, прижала руки к груди и сказала с чувством:

- Боже мой. Вы ещё прекраснее, чем я думала. Вы совершенно как героиня. Я Катя. Мы будем подругами. Я так решила.

И Надежда, к собственному изумлению, засмеялась - во второй раз в своей новой жизни.

Они и правда стали подругами. Катя приносила ей книги - те самые романы, которые маменька запрещала, и сти-

хи, и альманахи. Читала вслух, путая ударения и замирая на самых чувствительных местах. Рассказывала все новости усадьбы и уезда - какая корова отелилась, какой сосед проигрался в карты, какой гусар из стоявшего неподалёку полка посмотрел на неё в церкви особенно значительно. Расчёсывала Надежде волосы - длинные, тёмные, густые, - и заплетала их в косы, и восхищалась вслух. Приносила ей полевые цветы. Сочинила в её честь стихотворение, ужасное, с рифмами «Надежда - одежда - невежда», и Надежда смеялась над ним до слёз, а Катя ничуть не обиделась.

- Вы знаете, - сказала Катя однажды, сидя на краю постели и болтая ногами, - я ведь всегда хотела сестру. У всех моих подруг есть сёстры. А у меня только Мишель - и он, конечно, прекрасный брат, но он всё время молчит, или читает, или ездит верхом. А вы будете моей сестрой. Хорошо?

Надежда посмотрела на неё - на её румяное круглое лицо, на светлые кудри, на доверчивые голубые глаза - и почувствовала, как что-то сжалось у неё в горле.

- Хорошо, - сказала она тихо.

- Вот и прекрасно. - Катя чмокнула её в щёку. - А когда вы вспомните, кто вы, окажется, что вы - пропавшая дочь какого-нибудь герцога, и вы возьмёте меня с собой в Париж.

Надежда отвернулась к окну.

- А если я окажусь дочерью какого-нибудь разорённого игрока? - спросила она, и сама удивилась этим словам - откуда они взялись? - Или беглой преступницей?

- Не может быть, - убеждённо сказала Катя. - Преступницы такими не бывают. Я читала.

* * *

На второй неделе Штерн позволил ей вставать.

Ноги её ещё были забинтованы, ступать было больно, и первые дни она передвигалась от кровати до кресла у окна, опираясь на руку Дуняши. Потом - до двери. Потом - по галерее. Ей сшили домашние туфли из мягкой замши, на толстой войлочной подошве, и в них было почти не больно.

Платьев у неё не было. Её собственное сожгли - Варвара Петровна сказала ей об этом сразу, коротко и твёрдо, как говорят о решённом: оно было испорчено безвозвратно. Надежда кивнула и почувствовала странное облегчение, словно вместе с этим платьем сгорело что-то, что ей не хотелось видеть. Катя отдала ей несколько своих - Надежда была выше и тоныше, и платья пришлось переделывать, - и две девушки из девичьей три дня сидели над нимис иголками. Получилось просто, но мило: светло-голубое кисейное, белое с вышивкой, серое шёлковое для вечера. Варвара Петровна, посмотрев на неё в сером, подняла брови и ничего не сказала. Но на следующий день из Твери привезли отрез лилового муара и тонкие кружева, и княжеская модистка, выписанная из города, сняла с Надежды мерку.

- Маменька не любит, когда в доме кто-то одет некрасиво, - объяснила Катя, хотя никто не спрашивал. - Это у неё такая доброта. Она никогда не скажет, что жалеет, - она пришлёт

кружева.

Надежда начала понемногу узнавать дом.

Она узнавала его, как узнают новую страну - с удивлением, с осторожностью, с медленно растущей любовью. Большая зала с хрустальными люстрами, в которой давно не давали балов. Портретная галерея - генерал-аншеф в парике и звёздах, его жена в робронах, прадед, дед, отец Михаила - красивый седеющий человек с добрыми глазами. Гостиная, где стояли кресла, обитые жёлтым шёлком, и висели французские гравюры. Столовая с длинным столом на двадцать четыре персоны, за которым теперь обедали вчетвером. И библиотека.

Библиотеку она полюбила сразу и навсегда.

Это была длинная комната с окнами в сад, с дубовыми шкафами до потолка, с лесткой на колёсиках, с глобусом, с огромным письменным столом, заваленным бумагами. Здесь пахло кожей, пылью и сухими розами. Здесь были книги на пяти языках - история, философия, путешествия, поэзия, романы. Надежда ходила вдоль шкафов, касаясь пальцами корешков, читая названия, и некоторые из них отзывались в ней странным эхом - будто она уже держала эти книги в руках, когда-то давно, в другой жизни. Руссо. Шиллер. «Векфилдский священник». Байрон. Жуковский, «Баллады». Она сняла с полки томик Жуковского, раскрыла - и вдруг увидела перед собой другую комнату, маленькую, с низким потолком, и окно, за которым шёл снег, и женщину

в чепце у камина, которая читала вслух: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали...» Мама. Это была мама. Она не помнила её лица - только голос, тёплый, чуть хриловатый, и руку, которая гладила её по голове...

Книга выпала у неё из рук.

Михаил, сидевший за письменным столом над хозяйственными счетами, вскочил.

- Надежда! Что с вами?

Она стояла, прижав ладони к лицу.

- Ничего, - сказала она. - Ничего. Я вспомнила... кажется, вспомнила маму. Только голос. Она читала мне Жуковского. Был снег. И камин.

Он подошёл, поднял книгу, осторожно положил на стол.

- Это хорошо, - сказал он тихо. - Это ведь хорошее воспоминание?

Она отняла руки от лица. Глаза у неё были мокрые.

- Да. Хорошее. - Помолчала. - Мне кажется, она умерла. Мама. Я не знаю, откуда, но я это знаю. Мне кажется, она умерла давно, когда я была маленькой. И после этого... - Она нахмурилась, пытаясь удержать ускользающую нить. - После этого всё стало плохо.

Нить оборвалась. Она покачала головой.

- Не помню. Больше не помню.

Михаил молчал. Потом, словно решившись, сказал:

- Можно, я вам кое-что покажу?

Он подвёл её к угловому шкафу, открыл нижнюю дверцу

и достал оттуда большую папку, перевязанную лентой.

- Это рисунки моего отца. Он рисовал всю жизнь - для себя, никому не показывал. Пейзажи Белого Ключа. Маменька. Мы с Катей, когда были детьми. Я подумал... может быть, вам будет приятно посмотреть. Здесь есть родник. Вы его ещё не видели.

Они сели у окна и долго перебирали листы. Родник под берёзами - белый камень, из-под которого бьёт вода. Пруд в тумане. Липовая аллея зимой. Молодая женщина в белом платье на скамье - Надежда не сразу узнала в ней Варвару Петровну. Мальчик лет восьми на пони - серьёзный, с тёмными вихрами. Пухлая девочка с куклой.

- Вы были очень серьёзным мальчиком, - сказала Надежда.

- Я и сейчас очень серьёзный мальчик, - ответил Михаил, и она засмеялась.

Это был хороший день.

* * *

Но были и другие дни.

Однажды за обедом молодой лакей Петрушка уронил поднос с соусником. Соусник разбился, соус растёкся по паркету. Дворецкий Никанор, старый и обычно невозмутимый, рывкнул на Петрушку - громко, по-мужски, как рывкают на нерадивых слуг во всех барских домах России.

Надежда вскочила так резко, что опрокинула стул.

Она стояла, вжавшись спиной в стену, белая как мел, с

расширенными глазами, и руки её были подняты, будто она закрывалась от удара. Губы её дрожали. Она смотрела на Никанора - растерянного, испуганного не меньше Петрушки - и не видела его. Она видела кого-то другого.

В столовой стало тихо. Катя замерла с поднятой ложкой. Варвара Петровна медленно положила салфетку.

Михаил встал и подошёл к ней - медленно, не делая резких движений.

- Надежда, - сказал он. - Всё хорошо. Это Никанор. Он кричал не на вас. Никто здесь не кричит на вас.

Она медленно опустила руки. Посмотрела на него. Посмотрела на Никанора, на осколки соусника, на Катю, на княгиню. Краска залила её лицо - от шеи до лба.

- Простите, - сказала она сдавленно. - Простите меня. Я не знаю, что со мной. Простите.

И выбежала из столовой - насколько могла выбежать в своих войлочных туфлях на ещё не заживших ногах.

Никанор, бледный, перекрестился.

- Ваше сиятельство, - сказал он Михаилу дрожащим голосом. - Я ведь не на барышню... Я ведь на Петрушку только...

- Я знаю, Никанор, - сказал Михаил. - Ты ни в чём не виноват. Но с нынешнего дня в этом доме никто не повышает голоса. Ни на кого. Передай всем.

Вечером он нашёл её в библиотеке. Она сидела в глубоком кресле у камина, поджав ноги, - камин не топили, лето, - и смотрела в пустую чёрную пасть очага.

- Мне стыдно, - сказала она, не поворачиваясь, когда он вошёл. - Я вела себя как безумная. Что подумала ваша матушка...

- Матушка подумала, что вам кто-то сделал очень много зла, - сказал Михаил. - Как и все мы.

Она помолчала.

- Я испугалась не Никанора, - сказала она наконец. - Я испугалась голоса. Мужского голоса, который кричит. Когда я его слышу, у меня внутри всё... - она сжала руку в кулак у груди, - всё сжимается в комок. И я жду. Жду, что сейчас будет больно.

Он сел в кресло напротив. Долго молчал.

- Я был на войне, - сказал он. - На Кавказе. Там был один солдат в моём эскадроне, Фомин. Хороший солдат, храбрый. Его однажды завалило камнями при обвале - он пролежал под ними двое суток, пока мы его не откопали. Он выжил. Но после этого он не мог спать в палатке. Спал только под открытым небом, в любую погоду, даже в снег. Потому что, когда над ним был полог, ему казалось, что это опять камни. Он знал, что это полог. Он понимал умом. Но тело его помнило камни.

Она повернулась к нему.

- И что с ним стало?

- Со временем прошло. Не сразу. Через год, может быть. Он женился на казачке в станице, и она, говорят, каждую ночь держала его за руку, пока он засыпал под крышей. - Ми-

хаил чуть улыбнулся. - Я это к тому, Надежда, что ваше тело помнит то, чего не помнит голова. Это не безумие. Это раны. Раны заживают.

Она смотрела на него долго, и он видел, как в её серых глазах медленно тает что-то застывшее, ледяное.

- Вы очень добры, - сказала она тихо.

- Нет, - сказал он. - Просто я тоже кое-что помню телом.

Он не стал объяснять. Она не стала спрашивать. Но с этого вечера между ними возникло что-то новое - тихое понимание людей, каждый из которых знает, что у другого есть своя тьма.

* * *

Были и ночи.

Кошмары приходили не каждую ночь, но часто. Всегда один и тот же: тёмная комната, маленькая, тесная, без окон. Запах пыли и мышей. Дверь, которая заперта снаружи. И шаги за дверью - тяжёлые, медленные, неторопливые. Шаги приближаются. Останавливаются. Ключ поворачивается в замке...

Она просыпалась с криком. Дуняша, спавшая теперь на кушетке в её комнате, вскакивала, зажигала свечу, давала воды. Иногда прибежала Катя - в ночной рубашке, с распущенными кудрями, - забиралась к ней в постель и обнимала, как обнимают маленьких детей.

Надежда попросила, чтобы дверь её комнаты на ночь не закрывали. Совсем. Чтобы она оставалась приоткрытой и

в коридоре горела лампада. Варвара Петровна, услышав об этом, долго молчала, а потом распорядилась поставить в коридоре у её двери лампаду в красном стекле, которая горела теперь всю ночь.

* * *

Варвара Петровна вообще вела себя странно.

Она была с Надеждой безупречно вежлива. Справлялась о её здоровье. Присылала кружева, шали, гребни. Следила, чтобы её хорошо кормили. Но она никогда не разговаривала с ней наедине, никогда не улыбалась ей, никогда не называла её иначе как «сударыня» или «мадемуазель». И Надежда часто ловила на себе её взгляд - долгий, тяжёлый, испытующий.

- Ваша матушка меня не любит, - сказала она однажды Михаилу.

- Неправда, - сказал он. Но не очень уверенно.

Он знал, что мать недовольна. Она сказала ему это прямо - в тот же вечер, когда случилась история с соусником.

- Михаил, - сказала она, вызвав его к себе в будуар, - так продолжаться не может. Эта девушка живёт в нашем доме третью неделю. Мы не знаем, кто она. Мы ничего о ней не знаем. Уже говорят по всему уезду. Ракитины спрашивали меня в церкви. Мальцева присылала узнать.

- Пусть говорят.

- Не будь ребёнком. Ты обязан сообщить. Предводителю, исправнику. Её, может быть, ищут. Её родные, может быть, с ума сходят от горя.

- Или ищет тот, кто её бил, - сказал Михаил жёстко. - Вы видели её спину, маменька. Вы видели её руки. Вы слышали, как она кричит по ночам. Хотите, чтобы я отдал её исправнику, а исправник - тому, кто сделал это?

Варвара Петровна побледнела.

- Я не говорю, что надо её отдавать...

- А что тогда?

Она молчала. Ключ на цепочке, рядом с нательным крестом, жёг ей грудь. Она могла сейчас сказать. Показать платок. Сказать: «В. Ш.», графская корона, и полоска на пальце, и, может быть, граф Шелестов, о котором говорят шёпотом. Сказать: «Мишель, она, вероятно, замужем. Она чужая жена. Ты не имеешь на неё никаких прав. Ни ты, ни я, ни Господь Бог». Это было бы честно. Это было бы правильно.

Но она посмотрела на сына - на его лицо, на сжатые губы, на глаза, в которых было что-то, чего она не видела в них с тех пор, как он вернулся с Кавказа, - что-то живое. И не смогла.

«А если я ошибаюсь? - думала она. - А если это вовсе не Шелестовы? А если платок чужой? Я разрушу всё - его покой, её покой - из-за догадки. Нет. Подожду. Пусть она окрепнет. Пусть память вернётся сама. Тогда всё и решится».

Она знала, что лжёт себе. Знала, что ждёт не ради них, а потому что боится. Боится увидеть, как лицо сына снова станет мёртвым.

- Хорошо, - сказала она устало. - Пусть пока будет так. Но, Михаил... Будь осторожен. Ради Бога. Ты не знаешь, кто она. И она не знает.

- Я знаю, кто она, - сказал Михаил. - Она - человек, которому нужна помощь. Этого достаточно.

Он поцеловал ей руку и вышел. Варвара Петровна долго сидела одна. Потом встала, подошла к окну.

В саду, на скамье под старой липой, сидела Надежда в Каатином голубом платье, с книгой на коленях. Книга была раскрыта, но она не читала. Она смотрела туда, где на дорожке появился Михаил, - и лицо её светилось, как светится лицо девушки, которая видит того, кого любит.

Она, кажется, ещё сама этого не знала.

Варвара Петровна знала. Она отошла от окна и долго стояла перед образом Богородицы.

«Матерь Божья, - шептала она, - не дай мне ошибиться. Не дай мне погубить их. Ни моим молчанием, ни моими словами».

Но Богородица молчала, и только огонёк лампы дрожал в полумраке.

Глава 5

В середине июля Штерн снял последние повязки с её ног, осмотрел розовые молодые рубцы, похлопал её по пятке, как ребёнка, и объявил:

- Ну, мадемуазель Надежда, отныне вы здоровы. Можете ходить, бегать, танцевать и лазить по деревьям. Последнего, впрочем, не рекомендую. А голова?

- Не болит, - сказала она. - Почти никогда.

- А память?

Она покачала головой. Штерн вздохнул и не стал продолжать.

В тот же день Михаил повёл её к роднику.

Они пошли втроём - Катя увязалась, разумеется, - по липовой аллее, потом через старый парк, где деревья смыкались над головой зелёным сводом и стояла прохладная влажная полутьма, потом вниз по тропинке, по ступенькам, вырубленным в склоне. Внизу, в лощине, росли берёзы - семь старых берёз с белыми, как бумага, стволами. А между ними, из-под большого белого камня, похожего на спящего зверя, бил ключ.

Вода выходила из-под камня беззвучно и мощно, поднималась невысоким бурлящим горбиком и стекала в каменную чашу, выложенную ещё при генерал-аншефе. Из чаши она переливалась в ручей, а ручей убегал, звеня, вниз, к пруду.

ду. Вода была такая прозрачная, что казалось, её нет вовсе: на дне чаши лежал белый песок, и песчинки в нём кружились, танцевали, поднимаемые течением из глубины земли.

Надежда остановилась на краю чаши и долго молчала.

- Можно? - спросила она наконец.

- Конечно.

Она опустилась на колени, зачерпнула воды ладонями и выпила. Вода была ледяная - такая, что заломило зубы, - и сладкая, и пахла чем-то, чему она не знала названия: может быть, самой землёй, глубиной, камнем.

- Отец говорил, - сказал Михаил, садясь на камень рядом, - что кто выпьет из Белого Ключа, тот непременно вернётся сюда. Откуда бы ни уехал. Сколько бы ни прошло лет. Он сам пил отсюда перед тем, как уйти на войну с Наполеоном. И вернулся. А я пил перед Кавказом.

- И вернулись, - сказала Надежда.

- И вернулся.

Она посмотрела на воду в своих ладонях. В ней отражалось небо, ветки берёз, её собственное лицо - неясное, дрожащее.

- Значит, я тоже теперь вернусь, - сказала она тихо. - Откуда бы ни уехала.

Михаил ничего не ответил. Катя, бродившая между берёзами и собиравшая колокольчики, вдруг почему-то перестала напевать.

* * *

С того дня началось лето.

Настоящее лето - такое, какое бывает только в молодости, только в деревне, только в старых русских усадьбах, где время течёт медленно, как мёд с ложки. Позже, через много лет, Надежда будет вспоминать эти недели так, как вспоминают сон, - и не будет уверена, что они были на самом деле.

По утрам она просыпалась от того, что в открытое окно влетали ласточки. Она вставала, умывалась холодной водой из кувшина, одевалась - в лиловое муаровое платье, сшитое модисткой, или в Катино голубое, - и спускалась в столовую, где уже пахло кофе и свежими булками. После завтрака они гуляли. Или читали в библиотеке. Или Катя тащила её в сад - рвать малину, или на пруд - кормить лебедей, или в девичью - смотреть, как девушки плетут кружево. Днём, в жару, все расходились по своим комнатам, и дом затихал. Вечерами пили чай на террасе, с вареньем шести сортов, и смотрели, как над прудом поднимается туман.

Она узнавала о себе удивительные вещи.

Она узнала, что умеет ездить верхом. Это обнаружилось случайно: Катя собиралась на прогулку на своей смирной гнедой кобыле и предложила Надежде поехать в коляске следом. Но Надежда, увидев, как конюх выводит из конюшни лошадей, вдруг подошла к гнедой, погладила её по шее, взяла под уздцы - и Михаил, наблюдавший с крыльца, понял по тому, как она это сделала, что она знает лошадей. Ей нашли старую амазонку Варвары Петровны, подогнали, поса-

дили её в дамское седло - и она поехала. Сначала осторожно, шагом. Потом рысью. Потом, когда они выехали за ворота на луг, - галопом, так что ветер сорвал с её головы шляпку и тёмная коса расплелась и полетела за спиной. Она смеялась. Михаил, скакавший рядом, никогда не слышал, чтобы она так смеялась, - свободно, громко, во весь голос.

- Где вы научились? - крикнул он ей.

- Не знаю! - крикнула она в ответ. - Не помню! Мне кажется - всегда умела!

Она узнала, что умеет рисовать - не так хорошо, как покойный князь, но хорошо: акварелью, лёгкими прозрачными мазками. Что умеет вышивать гладью. Что знает наизусть половину «Евгения Онегина» и целые сцены из Расина. Что может вести счета - однажды, заглянув через плечо Михаила в хозяйственную книгу, она мимоходом указала ему на ошибку в сложении, которую он искал целый час. Что разбирается в травах: когда у дочери скотницы, пятилетней Малаши, случился ожог - девочка опрокинула на себя горшок с кипятком, - Надежда, прибежавшая на крик раньше всех, велела принести ей сырую тыкву, растёрла её и приложила к ожогу, а потом наложила повязку с облепиховым маслом, и Штерн, приехав, только развёл руками: «Я бы сделал то же самое».

- Откуда вы это знаете? - спросил он.

- Не знаю, - сказала Надежда. Она сидела на лавке в скотницкой избе, держа на коленях всхлипывающую Малашу. -

Мне кажется, у нас в доме была старая няня, которая лечила всех травами. Я помню... запах сушёной ромашки. И руки. Тёмные, морщинистые, тёплые. - Она закрыла глаза. - Её звали... Нет. Не помню.

И она узнала, что умеет играть.

* * *

Это случилось в дождливый день в конце июля.

Все собрались в малой гостиной, где стояло старое фортепиано работы Тишнера - покойный князь купил его в Петербурге для Варвары Петровны лет двадцать назад. Варвара Петровна когда-то хорошо играла, но после смерти мужа не прикасалась к инструменту. Катя играла плохо и неохотно, путая аккорды. Фортепиано стояло закрытым, под вышитой шалью, и только раз в год приезжал настройщик из Твери.

В тот день Катя, которой было скучно, сняла шаль, открыла крышку и стала одним пальцем подбирать какую-то модную песенку.

- Перестань, - сказала Варвара Петровна, не отрываясь от пасьянса. - У меня от тебя голова болит.

- А пусть Надежда сыграет! - сказала Катя. - Надежда, вы ведь умеете? Вы всё умеете!

- Я не знаю, - сказала Надежда. Она сидела у окна с вышиванием и смотрела, как дождь стекает по стеклу.

- А вы попробуйте!

Надежда отложила вышивание. Медленно подошла к фортепиано. Села на табурет. Положила руки на клавиши -

и долго сидела так, не двигаясь, глядя на свои пальцы на пожелтевшей слоновой кости.

Потом начала играть.

Это был ноктюрн Фильда - тот самый, ми-бемоль мажорный, который в Москве играли в каждой гостиной. Но она играла его не так, как играют в гостиных барышни, выученные гувернантками. Она играла его так, будто сама сочинила, - медленно, задумчиво, с той особой певучестью, когда кажется, что звук не обрывается, а тает в воздухе. Мелодия поднималась и опускалась, как волна, и в ней было столько печали и столько нежности, что Варвара Петровна опустила карты.

Михаил, сидевший в кресле с газетой, отложил газету.

Катя замерла у окна, приоткрыв рот.

Надежда играла, закрыв глаза. Лицо её было спокойным и далёким. Дождь стучал в стекло, словно подыгрывая ей. Последний аккорд прозвучал и растаял, и в комнате стало так тихо, что слышно было, как тикают часы на камине.

- Боже мой, - сказала Варвара Петровна. Голос у неё дрогнул. - Где вас учили, дитя моё?

Это был первый раз, когда она назвала её не «сударыней», а «дитя моё». Никто, кажется, этого не заметил - кроме Михаила.

Надежда открыла глаза и растерянно посмотрела на свои руки.

- Не знаю, - сказала она. - Был учитель... кажется, итальян-

нец. Старый. Он бил меня линейкой по пальцам, если я ошибалась. - Она чуть улыбнулась. - Но не больно. Он говорил: «Синьорина, у вас золотые руки и железное сердце. Это редкость».

- Сыграйте ещё! - потребовала Катя. - Ну, пожалуйста. Что-нибудь весёлое! Вальс!

Надежда кивнула и снова положила руки на клавиши. Она начала играть вальс - первые такты, лёгкие, кружащиеся, - и вдруг пальцы её споткнулись. Остановились. Ударили фальшивый аккорд.

Она отдёргнула руки от клавиш, как от огня.

Лицо её стало белым. Губы задрожали. Она смотрела на клавиши, и в глазах у неё был тот самый ужас, который Михаил видел на дороге, в тот первый день.

- Свечи, - прошептала она. - Много свечей. И этот вальс. Его играли... играли слишком громко. И кто-то смеялся. И рука... рука на моём запястье...

Она вскочила, опрокинув табурет, и прижала ладони к ушам, словно музыка всё ещё звучала.

- Не надо, - сказала она. - Пожалуйста. Не надо вальса. Никогда.

Михаил был рядом, прежде чем кто-то успел опомниться. Он не взял её за руку - при матери, при Кате это было бы немыслимо, - но встал между ней и фортепиано, так, чтобы она не видела клавиш.

- Никакого вальса, - сказал он. - Никогда. Обещаю. Катя,

закрой крышку.

Катя, перепуганная, торопливо закрыла.

Надежда стояла, опустив руки, и медленно приходила в себя. Потом сказала тихо:

- Простите. Я опять... Простите.

- Не за что, - сказала Варвара Петровна. Она встала, подошла к Надежде и - впервые - взяла её за руку. Рука у княгини была сухая и прохладная. - Не за что, дитя моё. Пойдёмте. Я велю подать вам чаю с мятой. И вы мне расскажете про этого итальянца, который бил вас линейкой. Мой учитель музыки тоже бил меня. Это был немец, и бил он больно.

Она увела Надежду. Михаил остался стоять у фортепиано. Катя смотрела на него с таким выражением, будто впервые его видела.

- Мишель, - сказала она шёпотом. - Ты ведь её любишь.

Он не ответил.

* * *

Он и сам уже знал это.

Он понял это не сразу - так не бывает, чтобы сразу, это только в Катиних романах. Он понимал это постепенно, день за днём, как понимают, что наступила осень: сначала один жёлтый лист, потом другой, потом утренний иней на траве, и вдруг однажды выходишь на крыльцо - а вокруг золото и холод, и ясно, что лето кончилось и уже не вернётся.

Он ловил себя на том, что ищет её глазами, когда входит в комнату. Что прислушивается к её шагам на лестнице. Что

помнит каждое её слово, каждую улыбку, каждый жест - как она заправляет за ухо выбившуюся прядь, как прикусывает губу, когда задумывается, как смеётся, запрокинув голову. Что просыпается по утрам с мыслью: «Сегодня я её увижу» - и эта мысль наполняет его таким счастьем, какого он не испытывал никогда в жизни. Ни после первой победы. Ни после ордена. Ни после возвращения домой.

И он знал, что не имеет на это права.

Он не знал, кто она. Он не знал, свободна ли она. Белая полоска на безымянном пальце - он заметил её ещё в карете - не давала ему покоя. Она могла быть просватана. Могла быть замужем. Могла быть... да кем угодно. Где-то была её жизнь, её прошлое, её обязательства. И однажды - завтра, через месяц, через год - память вернётся, и она вспомнит всё. И уйдёт туда, к своему прошлому. А он останется.

Или - хуже - она не захочет уходить, а прошлое придёт за ней само.

Он говорил себе это каждый вечер. И каждое утро просыпался с той же мыслью: «Сегодня я её увижу».

Однажды он сказал об этом Штерну. Они сидели вечером в кабинете, пили коньяк, курили. Доктор приехал проведать Малашу с её ожогом и остался ужинать.

- Фёдор Карлович, - сказал Михаил, глядя на огонь в камине, который затопили, потому что вечер выдался холодным, - что мне делать?

Штерн не стал притворяться, что не понимает.

- Ты меня спрашиваешь как доктора или как друга?

- Как друга.

Штерн долго курил молча.

- Как друг, - сказал он наконец, - я скажу тебе: беги. Уезжай в Петербург, на Кавказ, в Италию - куда угодно. Пока не поздно.

- Уже поздно.

- Я так и думал. - Штерн вздохнул. - Тогда как друг я скажу тебе другое. Будь честным. С ней и с собой. Не обещай того, чего не сможешь выполнить. Не бери того, что тебе не принадлежит. И помни: однажды она вспомнит. Может быть, это будет хорошее воспоминание. А может быть, такое, что всё, что сейчас есть между вами, рассыплется как карточный домик. Ты готов к этому?

- Нет, - сказал Михаил.

- Никто не готов, - сказал Штерн. - Но ты подумай.

Михаил думал. Думал всю ночь. А утром встал, вышел на террасу - и увидел, как Надежда идёт по аллее, с корзинкой в руках, в белом платье, с непокрытой головой, и солнце пугается в её тёмных волосах, и она поднимает голову, видит его - и лицо её озаряется такой радостью, что у него перехватывает дыхание.

И он понял, что думать бесполезно.

* * *

В начале августа случилась гроза.

Они возвращались с верховой прогулки вдвоём - Катя в

тот день осталась дома с больным горлом, а Варвара Петровна, поколебавшись, отпустила их с конюхом Степаном. Но Степан отстал - у его лошади слетела подкова, - и они поехали дальше вдвоём, шагом, по лесной дороге. Было душно. Небо на западе наливалось свинцовой синевой. Птицы смолкли.

Гроза началась внезапно, как начинаются все летние грозы. Сначала порыв ветра - такой сильный, что деревья закачались, зашумели, затрещали ветками. Потом первая молния - белая, ослепительная, - и почти сразу гром, от которого лошади присели на задние ноги. А потом хлынул дождь - стеной, сплошной, ревущий, такой, что в двух шагах ничего не было видно.

- Сюда! - крикнул Михаил. - Здесь беседка!

На краю леса, у старой границы парка, стояла ротонда - круглая беседка с колоннами и куполом, построенная ещё генерал-аншефом для пикников. Они доскакали до неё, спрыгнули с лошадей, привязали их под навесом и вбежали внутрь, мокрые до нитки.

Внутри было сухо и полутемно. Купол гудел под дождём, как барабан. Вокруг беседки стояла сплошная серая стена воды, и в ней иногда вспыхивали молнии, освещающая всё мертвенным белым светом.

Надежда сняла мокрую шляпку и, смеясь, отжимала волосы. Амазонка её промокла насквозь и облепила фигуру. Капли воды стекали по её лицу, по шее, по рукам.

Михаил стоял у колонны и смотрел на неё. Он не мог не смотреть.

Она почувствовала его взгляд, подняла голову - и смех её оборвался.

Несколько секунд они смотрели друг на друга молча. Гром грохотал над головой. Дождь ревел. Где-то совсем рядом ударила молния - так близко, что воздух затрещал и запахло серой. Надежда вздрогнула и невольно шагнула к нему.

И оказалась так близко, что он чувствовал её дыхание.

Она не отступила. Она стояла, подняв к нему лицо, мокрое от дождя, и смотрела на него своими серыми, огромными, бездонными глазами, и в этих глазах было всё - вопрос, и страх, и надежда, и что-то ещё, такое огромное, что он не смел назвать.

Он поднял руку и осторожно, кончиками пальцев, убрал мокрую прядь с её лба.

Она закрыла глаза.

Он мог поцеловать её. Сейчас. Здесь. Она ждала этого - он знал, что ждала. Он чувствовал, как она дрожит, - не от холода. Он видел, как бьётся жилка у неё на шее. Ему нужно было только наклониться.

Он не наклонился.

Он опустил руку и отступил на шаг.

Она открыла глаза. В них мелькнуло что-то - обида? растерянность? - и тут же погасло.

- Простите, - сказал он хрипло. - Я не должен был...

- Вы ничего не сделали, - сказала она тихо.

- Именно поэтому, - сказал он. - Именно поэтому я и прошу прощения. Потому что я хотел. Надежда, я...

Он замолчал. Она ждала.

- Я не имею права, - сказал он наконец. - Вы не знаете, кто вы. Я не знаю, кто вы. Может быть, где-то вас ждут. Может быть, вы... вы не свободны. Я не могу... я не прощу себе, если...

Она смотрела на него. Потом медленно подняла правую руку и посмотрела на неё - на безымянный палец, на тонкую белую полоску, которая почти исчезла за лето, но всё ещё была видна, если приглядеться.

- Вы тоже её видите, - сказала она.

- Да.

- Я смотрю на неё каждый вечер. - Она опустила руку. - И каждый вечер говорю себе: это ничего. Это может быть что угодно. Кольцо матери. Подарок подруги. Что угодно. - Голос её дрогнул. - Но когда я смотрю на неё, мне становится так холодно, Михаил Александрович. Так холодно, как будто я снова в той тёмной комнате, и ключ поворачивается в замке.

Он стиснул кулаки так, что ногти впились в ладони.

- Если бы я знал, - сказал он глухо, - если бы я только знал, кто это сделал...

- Не надо, - сказала она. - Не думайте об этом. Я не хочу, чтобы вы об этом думали. Я хочу... - она запнулась, и щёки

её залил румянец, - я хочу, чтобы было это лето. Только это лето. Родник. Лошади. Библиотека. Вы. Пусть будет хотя бы это. Пусть будет, пока может.

Гроза уходила на восток. Гром ворчал уже где-то далеко, за лесом. Дождь стихал, редел, превращался в лёгкую морось. Сквозь тучи пробился луч солнца - один, косой, золотой - и ударил прямо в беседку, и капли на колоннах вспыхнули, как бриллианты.

А над лугом, над мокрым лесом, над далёкими крышами Белого Ключа встала радуга - огромная, полная, от края до края неба.

- Смотрите, - сказала Надежда.

Они стояли рядом у колонны и смотрели на радугу, не касаясь друг друга. Но им казалось, что они держатся за руки.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.